

Отель

Автор:

Вячеслав Прах

Отель

Вячеслав Прах

«Я просыпался с одной-единственной женщиной на протяжении четырех лет. Я мыл ее каждый день. Я расчесывал ее длинные вьющиеся волосы, стирал ее платья и называл частью своей души. Я умел сравнить утренний июльский рассвет с ее сонной улыбкой. Я рассказывал ей, что срок жизни у Бога и цветов совершенно разный и что срок ее дыхания окажется где-то посередине длительности жизни одного и другого.

Она любила красные яблоки, а я любил ее. А еще я любил рисовать натюрморты...»

Вячеслав Прах

Отель

Благодарю отца, у которого я позаимствовал чувство юмора.

Мой дорогой читатель, первую часть книги ты, возможно, сочтешь пафосной и возвышенной. Так как часто я буду упоминать о Боге, о душе и о своих художественных задатках. Прошу простить мне мою молодость.

Во второй части своего рассказа я буду тебя смешить. Поскольку внезапно в себе обнаружу призвание колумниста, который напишет удивительную правду о жизни обыкновенных людей. А дивная история о том, как гусь съел корову на завтрак, станет моим громким триумфом. Мне хочется, чтобы ты смеялся, читая строки о прозаичности жизни самого простого человека. Может быть, в некоторых строках ты найдешь и себя.

Читая третью часть моей книги ты, возможно, о чем-то задумаешься. Мы поговорим с тобой о важном с глазу на глаз. Ведь нельзя же все время смеяться, нужно хоть на время становиться серьезным.

Моя история банальна, как розы. И если вдруг ты захочешь над ней поплакать, то знай, что твои слезы прольются зря.

Вступление

Этот город называют живописным местом люди, которые не разбираются в живописи, а лишь говорят о ней. Те заблудшие туристы, которые не знают аромата вечерних улиц, его утренней росы с примесью запаха свежеспеченных круассанов нашего талантливого пекаря Мишеля. А знаете ли вы, что печь круассаны – это искусство? Этот город – произведение Мастера, отпечаток указательного пальца Бога. Плод его бездонного вдохновения, на который он потратил больше всего своих самых искренних чувств и самых ярчайших красок, оставив более скудные цвета на людей и другие города.

На вкус этот плод сладок, как медовая груша или грона налитого черного винограда, который сегодня же в плетеных корзинах отправят на вино.

На вид он – как лицо прекрасной женщины, в которую суждено один раз и на всю оставшуюся жизнь влюбиться. А заметив после опьянения ее изъяны – влюбиться и в них. Прошу простить меня за простоту данного эпитета и излишнюю сентиментальность, но точнее выразить, как он выглядит, я не могу.

Посвящается каждой улице этого незабвенного города, мысль о котором заставляет вздрагивать мое здоровое, крепкое сердце. Этот уголок света и бесконечного тепла хочется утаить от всего мира, упиваться им наедине с собой. Но душа моя слишком переполнена чувствами к нему, и утаить его только в себе одном – это значило бы оставить его без должного внимания. (Почему у самых прекрасных созданий принято, что оставить без внимания – это в какой-то степени равносильно предательству?) Самый великий подвиг, который может совершить писатель для источника своей любви – написать о нем в своей книге или ему эту книгу посвятить.

Посвящается месту, которое украло часть моей души и теперь каждую ночь перед сном зовет меня вернуться за ней.

Посвящается городу моей вечной любви.

Сен-Поль-де-Ванс

Отель «Золотая голубка»

1923 год

* * *

Мишель – пекарь от Бога. В нашем зеленом и укромном уголке «от Бога» принято именовать все, что представляет собой некую уникальную ценность, в своем роде – неповторимость; все, что вынуто из души и наполнено своим трудом, – оно идет от Бога. Будь ты художником, писателем, скульптором или просто обыкновенным пекарем.

– Здравствуй, Мишель, – поприветствовал я своего старого доброго друга, которому в прошлом месяце исполнилось сорок семь. Этот необъятной пышности и добра человек был старше меня на двадцать три года, и если бы у него был сын, то, возможно, он был бы моим ровесником. Но сына у пекаря не было, как не было и голубки-жены, бархотки-дочки и даже толстого ласкового кота, которого после работы можно было бы прийти и помучить.

– Доброе утро, дружище, – радостно поприветствовал он меня в своей маленькой уютной пекарне у центрального фонтана.

Место «у фонтанов» – это сердце вечноцветущего города. Здесь расположены самые главные рестораны и кафе.

Ни для кого не секрет, что сердце местных жителей – это их желудок. В этом вся она – Франция.

– Мне – как всегда. Они еще теплые? – ткнул я пальцем в произведения кондитерского искусства, гордо выставленные в корзине на витрину.

– Обижаешь. Где ты оставил Луизу?

– Она еще спит. Ты знаешь, она у меня поздняя пташка.

– Да-а-а. Чудесное дитя. Храни Дева Мария ее сон.

– Благодарю, Мишель. Удачного тебе дня.

– И тебе, мой дорогой друг.

Я оставил пять франков в знак благодарности за наш с Луизой сегодняшний завтрак. По пути к дому я зашел в кофейню «У Ренуара» и принес с собой еще два бумажных стаканчика какао с мятой. Это был любимый напиток моей четырехлетней дочери.

– Доброе утро, Луиза.

– Доброе утро, папа.

Я приучил ее просыпаться с улыбкой, ведь новый день – это чистый нетронутый лист, в котором нет продолжения вчерашнего дня. Вчерашние тревоги канут в Лету, как и наша молодость, как любимые исполнители и их пластинки, как актеры и их чудные роли, как цветы, растущие в нашем саду. Ее улыбка для меня – такая же святыня, как икона для истинного служителя Бога. Бог один. Меня с детства учила этому мама, этому с детства учу ее я. Мне двадцать

четыре года, а ей всего лишь четыре.

«Где ее мама?» – спросит меня внимательный читатель, которому небезразлична наша с ней судьба. Как сказал однажды Поль Ру: «Утерянные игрушки попадают в страну утерянных игрушек, а потерянные мамы – в страну потерянных мам». Когда-нибудь моя Луиза узнает настоящую правду о своей матери, но пока ее мама, прекрасная и богатая, цветущая в самом центре Парижа, умеет жить и находить в своей жизни радость. Хотя для меня мама Луизы – это всего лишь лужа, в которой я находил грязь изо дня в день на протяжении четырех лет. Своей маленькой кровинушке с вьющимися волосами и бесконечно любопытными глазами я поведал историю о том, как матушка Жаклин плавает каждый вечер на своем личном катере по бушующим водам Сены вдоль Монтебелло и обратно. Ей нравится смотреть на звезды, это у них с Луизой общее.

Жаклин – француженка. В венах моей дочери течет французская кровь.

– А ты сегодня будешь рисовать корзину с яблоками?

Моя кровь показала на горчичного цвета корзину, в которой лежали два целых яблока и одно надкушенное. У Луизы была слабость – спелые красные яблоки размером с мой кулак. Она могла их есть целыми днями.

– Ты нанимаешь меня, чтобы запечатлеть на бумаге источник своей любви? – сказал серьезным взрослым голосом я. Признаюсь, у меня никогда не получалось изображать взрослого.

– Да, – радостно воскликнула она. – Я нанимаю тебя.

– Ну что же, – тяжело вздохнул я. – Художник – человек свободный до тех пор, пока ему не будут готовы хорошенько заплатить. Кстати, юная леди. Каково жалованье за мой труд?

– Ну, – задумалось еще сонное очаровательное создание, имевшее ангельские черты лица. Если бы ангелом можно было назвать женщину, которая ее однажды оставила мне. – Я могу тебя поцеловать, – наконец сказала она.

Я улыбнулся... Такие слова мне уже доводилось слышать ранее...

Глава первая

Женские груди. Жаклин и Париж

В пятнадцать лет я открыл в себе задатки человека, который умеет изображать на холсте то, что он видит. А видел я из окна своей спальни большие грузовые суда, которые далеко-далеко посередине моря могли стоять тридцать суток, а то и пятьдесят, ни разу не сдвинувшись с места; сонных рыбаков, которые в пять тридцать утра выходили со снастями к морю и встречали удивительной красоты рассвет, ловили попутно рыбу и смотрели вдаль на уснувшие баржи. Все свое детство я прожил возле моря, в одном маленьком сицилийском городке, имеющем короткое название «Джела».

В семнадцать лет я уже видел, даже, можно сказать, познавал оголенную грудь итальянской длинноволосой девицы, которая, воодушевленная и плененная чарами художника, позировала мне своим приданым во имя искусства. Мне нравилось рисовать женскую грудь. Грудь – это такая выпуклость, на которую я мог смотреть вечно, получая невероятное удовольствие от увиденного. Я мог сравнивать эти твердые прекрасные шары с земными шарами, планетами, с созревшими сочными арбузами, с маленькими недоспелыми дыньками или даже с крохотными гронками нашего местного винограда Moscato di Pantelleria. Любой винодел знает, что сбор винограда всегда начинается с белых сортов – они созревают раньше. Любой итальянский мужчина знает, что итальянские девушки смуглых сортов созревают рано.

В семнадцать лет мне казалось, что нет занятия более занимательного на свете, чем созерцать прекрасное, ослепительное и пьянящее у самых спелых и очаровательных созданий.

В восемнадцать лет я покинул Италию в поисках себя, так как в этой стране я себя не нашел. Мальчика с карими глазами и овладевшими его разумом и мыслями большими налитыми грудями было не удивить бесконечными рапсовыми полями пустынной Тосканы, словно нескончаемыми песками Египта, на которые обрушивалось желтое солнце, полями, источающими медовый

аромат. Я покидал родные земли на поезде без капли сожаления на ресницах. Я не восхищался и бескрайним синим морем, подобным необъятному теплому небу, в котором я мочил свои пятки с первого года жизни.

Я покинул свой дом в поисках места, где мне будет лучше. И в свои восемнадцать я был уверен, что такое место я смогу найти.

Первым моим пристанищем, несомненно, стал Париж. Я говорю «несомненно», ибо лучшего места для молодого амбициозного художника, созидającego голодными глазами мир, было просто не найти.

Голод – двигатель искусства. С этой фразой в современном Париже поспорить могли бы только Пабло Пикассо и Пьер Ренуар, если бы, конечно, Ренуар два года назад не умер в теплой постели, плотно поужинав перед сном, на своей роскошной вилле на юге Франции.

Юг Франции всегда считался престижным как для художественной элиты, так и для простого смертного. Многие (только смертные, нищие, босые) продали бы душу за то, чтобы последовать примеру Ренуара и встретить свою кончину на Лазурном Берегу.

Ох, если бы мама с детства не вложила в меня столько любви и уважения к Творцу нашего мира, то, возможно, в свои двадцать я бы называл богом Ренуара.

– Куда прешь, щегол?

– И вам доброе утро.

Вежливость – черта исключительно французская. Некоторых ругательств я не слышал даже от самых отпетых и побитых матросов на ранних рынках Джелы, куда меня отправляли в детстве за свежей рыбой. Париж принял меня как свое родное дитя. Я, как бездомная двуногая собака, заглядывал практически в каждую тарелку уличных кафе, где сидели красивые и почтенные, обеспеченные люди в костюмах. Женщины эффектно курили тонкие сигареты, аккуратно придерживая свои шляпки, смеялись. От них вкусно пахло духами. Судя по их безупречным платьям, они пользовались услугами личного портного. На их расслабленных лицах читалось удовольствие от жизни, в которой они себя чувствовали главными героинями, бунтарками, где главный лозунг бунта – это

«Я и мое удовольствие». На таких голодных и облезлых дворняг, как я, эти женщины не смотрели вовсе или отводили свой беглый и презрительный взгляд. Нет, они не желали меня осуждать. Они просто не желали меня.

Насколько мне известно, бедность презиралась всегда, но в двадцатые годы прошлого века – особенно сильно. В словосочетании «бедный художник» в глаза всегда бросалось первым слово «бедный», а затем – «художник». Такая профессия среди приезжих была в моде. Пьяница, гуляка, бездомный – эти слова в современном Париже можно было бы принять за синонимы к словам «мастер», «живописец», «художник».

Несмотря на отсутствие женского внимания (благо груди их были всегда объектом пристального внимания, о, какие у некоторых француженок были груди!), я наслаждался городом любви, не зная о самой любви и Ги де Мопассане. Я испытал влечение к городу, в котором люди спешат жить, словно доживают свои последние годы. Они мчатся, бегут, а если однажды тебе доведется замедлить свой шаг, спокойно прогуливаясь, скажем, в саду Тюильри, то могут и вовсе сбить с ног. Он сначала увлек меня, этот большой холодный город, а затем в себе растворил.

У меня была мечта – быть навечно прибитым к стенам музея Оранжери.

Скромных сбережений, накопленных непосильным трудом совершеннолетнего поглотителя женских выпуклостей (посмотрите на досуге на работу Франсиско Гойя «Сатурн, пожирающий своего сына» – и вы поймете, насколько сильно мне хотелось их поглощать), было мало. Я нарисовал портреты практически всех своих родственников, а у меня, скажу я вам, была большая семья. Мне удалось заработать кругленькую сумму, но ее хватило ненадолго. Всего на два месяца скромной жизни на окраине Парижа. Я разделял двухкомнатную тесную квартирку с одним окном и без сортира со студентом Антонио, приехавшим покорять этот город из испанской глубинки. Спустя некоторое время я понял, что таких приезжих героев был полон Париж.

Денег было катастрофически мало, а заглядывать в тарелки тех, кто созерцает искусство, а не порождает его, стало для меня унижительно, и я поклялся себе что-нибудь придумать.

Однажды утром, когда Антонио спал, а я проснулся от щебетания ранних птиц (в такие теплые летние ночи мы всегда спали с открытым окном), мною овладела неутолимая жажда – рисовать женские тела, познавать тайну женской сущности. В мои восемнадцать женщина была для меня даже не загадкой, нет, скорее – головоломкой. Я даже не догадывался, что помимо невероятно красивой емкости для молока, в женщине присутствует еще кое-что. Взять хотя бы глаза...

Идея на последние деньги купить себе несколько дешевых мольбертов из не самого качественного полотна, пару кисточек и коробку с красками пришла ко мне вместе с тем, разбудившим, щебетанием крылатых, которые ныряют в небо, чтобы познать, на что способны они и на что способно оно. На рассвете того летнего жаркого дня, когда мерзляк Антонио недовольно бурчал, требуя закрыть проклятое окно, я дал себе обещание нырять в женщин глубоко, не боясь разбиться о прелесть их очаровательных тел.

– Нарисуете меня?

Темноволосая тонкая француженка лет двадцати подошла ко мне, когда я сидел у мольберта на набережной Монтебелло, смотрел в небо и думал о том, что бы миру такого сотворить.

«Мой клиент», – решил про себя я, оценив в профиль ее тонкий крючковатый носик, отсутствие налитых гранатовым соком плодов самого граната. Худая, даже немного болезненная с виду. Но что-то в ее манерах было такое – изящное, притягательное. Пусть она была носатой и тощей, но в ней, безусловно, присутствовало некое обаяние. А иначе не понимаю, как она сумела меня обольстить. Легкое изящное движение кисти руки, этот таинственный взгляд, полный очарования и любви, ее прелестная, теплая улыбка, которая говорила мне: «Я вся твоя. Нарисуй меня!» Да, несомненно, я был ею пленен.

– Нарисую, – прошептал я, смотря пристально в ее черные дьявольские глаза.

Сначала, у реки, я рисовал ее лицо, мочки ушей и длинную шею. Затем в своей маленькой мастерской, когда Антонио был в университете, я дорисовывал ее пупок и пышные вьющиеся волосы на самом сокровенном месте.

– Андреа, а вы поцелуй к оплате принимаете? – спросила она, когда я закончил, но еще даже не начинал.

– Принимаю.

А затем, как выяснилось спустя год, я сотворил нечто совершенное, подобное Богу и самым прелестным цветам. Срок жизни у Бога и цветов совершенно разный, но срок дыхания моего творения окажется где-то посередине между тем и другим.

Выдох...

– Вы прекрасный художник, Андреа, – сказала Жаклин, застегивая верхние пуговицы своей белой блузки.

– Я знаю, – ответил ей человек, познавший в этом мире все. Как ему на тот момент казалось. Познать женское тело – это исследовать всю планету вдоль и поперек. – А вы – невероятная женщина.

С тех пор как она унесла мой портрет в свой дом, а с себя навсегда смыла запах художника, я не видел эту девушку ровно год, но за этот длительный срок я повидал многих других Жаклин, которые, возможно, пахли по-другому, имели иные формы и голос. Но сокровенное у всех оставалось прежним.

– Вы поцелуи принимаете?

– Нет, – спустя четыре месяца познания мира наконец ответил я. – Я принимаю франки.

– Но у меня нет денег... – растерялось молодое прекрасное создание, в жилах которого текла итальянская кровь.

– Возможно, дома у вас есть еда?

– Станный вы. Я имела другое представление о художниках.

– А я имел совсем другое представление о женщинах.

Спать с разными женщинами, а иначе говоря, перепробовать полмира очаровательного на вкус – это все равно что зайти в парфюмерную лавку и пытаться среди всех запахов уловить один-единственный аромат. Вот только представьте, что между новыми и старыми флаконами парфюма вашему обонянию не предлагают обесцветить предыдущий запах, отведав аромат зерен обжаренного кофе. И все запахи сливаются воедино, вызывая лишь отвращение, рвоту, и все женщины пахнут навязчиво громко, а затем перестают пахнуть.

Спустя полгода я перестал рисовать женские груди и другие удивительные места, «полные загадок и тайн», которые они осмеливались показывать только избранным: гинекологу, молодому симпатичному художнику вроде меня, своему любовнику и мужу, а затем – акушеру. И, не найдя больше секретов в неприкосновенном (всякое тебе будет казаться удивительным и тайным, пока его не касаешься, любое в мире, чего ты коснулся, становится явным), я подался в живопись.

Мне быстро удалось разгадать загадку женского тела, но я даже не пытался разгадать трагедию женской души.

Каждый день, проведенный в Париже, я посвящал тому, чтобы оттачивать свое мастерство. С каждым новым днем я рисовал все лучше.

* * *

– Сколько вы возьмете за мой портрет? – спросила у меня яркая смуглая испанка в красивом бархатном платье. С виду я бы дал ей лет тридцать, но, несомненно, она была старше.

– Триста франков, – назначил цену я. С каждым днем я оценивал себя дороже. Тот, кто учится живописи, но зарабатывает на обыкновенных портретах, рисует как минимум живописнее любого другого мастера.

– Слишком дорого, – отвергла меня она.

– А вы найдите себе того, кто нарисует вас дешевле. Я беру подлинную стоимость вашей красоты.

Она сначала посмотрела на меня свысока, а затем немного смягчилась.

– Я оцениваю себя намного дороже.

– Я даже не сомневался в этом, мадемуазель, – сказал я с оттенком подхалимства в голосе. – Моя работа – это всего лишь скромное, но правдивое отражение вашей истинной красоты.

– Я бы вам посоветовала, молодой человек, сейчас стать моим зеркалом, а иначе вы можете нечаянно утонуть в Сене, купаясь однажды утром недалеко от набережной.

– Но, мадемуазель, вы не правы. Я не купаюсь в Сене.

Она как-то странно улыбнулась мне.

– Моему мужу может показаться, что вы слишком хорошо плаваете и даже, возможно, не тонете, раз уж так бездарно рисуете.

– Могу заверить вас, мадам, что я тону. Будьте уверены, что вы стоите сейчас перед своим зеркалом. Присаживайтесь поудобнее на стул, а я пока протру себя.

Солнце пекло мне спину, мне хотелось пить, есть и даже спать, но больше всего на свете мне сейчас хотелось не расстроить эту загорелую, богатую даму, омытую водами Балеарского моря.

И я ее не расстроил. С ее позволения, я ее познал...

– Андреа, – однажды ранним утром громко постучались в дверь моей съемной квартиры. – Андреа, открой, я знаю, ты дома!

Это был женский напористый голосок, подобный удавке, брошенной на шею того, кто так сладко сроднился с кроватью. Стук становился все громче, а затем мне послышался младенческий плач.

Я второпях накинул на себя черную вчерашнюю рубашку и надел брюки. Открыл дверь.

– Чем могу вам помочь? – спросил я сонным голосом, всматриваясь в лицо знакомой мне девушки. Я не мог понять, где я ее мог ранее видеть. На руках она качала маленького ребенка.

– Ты меня не признал? – с какой-то надеждой в голосе спросила помятая дама, которая, как мне показалось, не спала очень давно.

С виду она больше походила на цыганку, просящую милостыню для своего младенца.

– Нет.

Я пребывал в недоумении, в оборванном сне и в потной, нестираной рубашке.

– Жаклин. Это имя тебе говорит о чем-нибудь?

И только тогда я вспомнил. Ох, сколько уже было Жаклин после...

– Говорит. Так звали мою первую женщину.

– Ты не говорил, что я была первая...

– Я бы сказал, если бы ты осталась.

«Зачем она принесла этого ребенка сюда?

Он ведь разбудит весь дом!»

– Это твой ребенок или ты его у кого-то украла? – осторожно осведомился я, словно бы в шутку.

– Да, я украла его.

– У кого?

– У тебя, Андреа! – сказала она как-то неестественно тихо и по-взрослому.

– Нет. Ты украла у меня пятьдесят франков, вытащила их из кармана моих брюк, когда я выходил в другую комнату, а ребенка – нет, это уж извольте! Я его вижу в первый раз.

– Но это твой ребенок. И тебе придется его забрать.

– До свидания, женщина. Ваша речь невероятно трогательна, но приберегите ее для кого-нибудь другого. Мне нужно спать, у меня рано клиентка.

– Надеюсь, твоя клиентка знает, как пеленать трехмесячного ребенка.

Я попытался закрыть дверь, но она поставила свою ногу на порог. Ребенок, который все это время гудел, как выяснилось позже, а не кричал, продемонстрировал свои вокальные способности во всей красе.

– Боже правый, дай ему грудь или что там им дают.

Из комнаты послышался сонный голос моего друга Антонио: «Заткните ребенку рот или выбросите его в окно. Он мешает мне спать».

– Я не могу его сейчас успокоить. У меня нет молока, – виноватым голосом сказала Жаклин.

– Тогда сделай что-нибудь, чтобы он не кричал, – меня вдруг охватило странное волнение.

– Подержи секунду, я достану игрушку, – она протянула мне маленького теплого младенца, который голосил не хуже хора оперного театра.

– До свидания, Андреа, – сказала она затем и со всех ног побежала вниз по лестнице.

«Где обещанная игрушка?» – вопрос, на который я искал ответ четыре года.

Глава вторая

Два целых яблока и одно надкушенное

- Мой поцелуй – это хорошее жалованье?

- Это целое состояние. Я думаю, мы сошлись в цене, – заверил я маленькую Луизу и принялся рассматривать яблоки со всех сторон.

- Я сейчас рисую натюрморт. Это странное для тебя слово значит «изображение мертвой природы».

- Значит, мои яблоки – мертвые?

- Несомненно. В нашей с тобой пище отсутствует дыхание жизни. Но присутствует ее вкус.

- Выходит, что еда мертвая, но вкусная?

- «Мертвая» – слишком грубое слово, Луиза. Я бы сказал, еда – неодушевленная, неживая. Она создана, чтобы утолить голод того, у кого есть душа. Или хотя бы желудок. А у тебя душа есть, мой ангел.

- Она там, где мой желудок?

- Нет, я думаю, она здесь.

Я указательным пальцем легонько коснулся ее длинных густых ресниц.

- Твои глаза – это зеркальное отражение твоей души.

Четырехлетний ребенок о чем-то задумался, а затем сказал:

- Не понимаю.

– Я тебе сейчас объясню на примере яблок. Вот ты сейчас смотришь на них. Сколько яблок ты видишь перед собой?

– Три.

– Хорошо. А давай теперь представим, что яблоки, на которые ты сейчас смотришь – это миниатюрная часть твоей души. То есть твои глаза смотрят на эти три красных яблока, и если твои зрачки отзеркаливают в этом мире все, то любой предмет или живое существо, на которое ты посмотришь, – это и есть твоя душа. Все просто!

– Не совсем поняла. Ты – моя душа?

– Да.

– Надкушенное яблоко – тоже моя душа?

– Именно.

– А злая собака Матильда, что живет около отеля, – это тоже моя душа?

– Несомненно.

– А что такое «душа»? – наконец спросила она.

Я все никак не мог закончить рисовать первое яблоко.

– Душа – это самая слабая часть тебя. Это твои чувства ко мне, к яблокам, к злой собаке Матильде, которая тебя однажды укусила. Если бы ты тогда ничего не почувствовала, не заплакала, не разозлилась изо всех сил на нее, то я бы забеспокоился, что Творец забыл вдохнуть в тебя душу. Пока ты чувствуешь, любишь и злишься – ты уязвима. Твои чувства к окружающему миру – это твоя душа, это и есть Бог.

– Значит, я и есть тот самый Бог, о котором ты постоянно говоришь? Но ведь я думала, что он – бородатый старик, которому больше ста лет.

Я улыбнулся.

- В тебе сейчас Бога больше, чем в любом церковном служителе, Луиза.

- Но ведь я даже не читала Библию.

- Библия - это не Бог, это книга. Бог - это чистая, нетронутая простыня, которую люди, однажды испачкав, на протяжении всей своей жизни пытаются отмыть.

Ее бесконечно глубокие глаза не понимали моих слов.

- Пап, можно, я съем яблоко? Я проголодалась.

- Съешь, но на моем натюрморте тогда останется только два яблока.

- Я только укушу и положу обратно на место, а когда ты закончишь, то доем его.

- Замечательно. Я скоро закончу.

- Кстати, о простыне. Занеси, пожалуйста, наше постельное белье дяде Полю и передай ему мой привет.

- Хорошо, - сказала послушная француженка, жуящая яблоко. Она сняла пододеяльник, собрала наволочки и выбежала из комнаты.

Последние штрихи грифелем старого и, кажется даже, бессмертного карандаша. Бессмертие карандаша - это создание прекрасного на протяжении целого года медленно тянущейся жизни мастера. Мой карандаш почетно скончался, создав свой последний шедевр.

- Все. Закончил! - удовлетворенно выдохнул я.

Тем временем ко мне пожаловал гость.

- Доброе утро, Андреа, - сказал толстый высокий мужчина, именуемый хозяином этого прекрасного гостиничного номера, в котором я живу и творю вместе со

своей дочерью.

- Доброе утро, Поль, - пожал я большую медвежью лапу.

Поль Ру был человеком необычайной доброты и сострадания, он предоставил нам с Луизой жилье практически даром.

- Чем будешь на этот раз платить, макаронник?

- Той же монетой, хозяин. Ты знаешь.

- У тебя есть три дня, чтобы нарисовать что-то путное, а иначе будешь неделю работать официантом в моем ресторане. У меня как раз не хватает свободных рук.

Меня не могла постигнуть столь постыдная участь.

- Истинный художник сочтет для себя унижительным подносить тарелки с едой тем, кто покупает его картины.

- Такова жизнь, малыш.

- Это не моя жизнь, Поль. Ты знаешь!

- Вот что я тебе скажу, Андреа. Унижительно – не унижительно! Не строй из себя гордого моралиста, когда тебе нечем прикрыть свой ленивый творческий зад. Когда не во что одеть свою дочь. Ты думаешь, я не знаю, что говорю? Да я готов был бы всю свою жизнь подносить тарелки с едой, лишь бы моя дочь была сыта и одета. Лишь бы у нее была крыша над головой и чистая простынка перед сном.

- Ты замечательный отец, Поль. Но тебе меня не понять. Я найду другой способ прокормить свою семью!

Вернувшаяся Луиза все это время внимательно слушала Поля Ру, а затем перевела взгляд на меня.

- Дядя Поль, а вы – моя душа! Вы знали об этом?

Наш любимый и уважаемый старик перевел вопросительный взгляд на меня.

- Ты – часть ее души, ибо она испытывает к тебе самые нежные чувства. Ты – ее слабость, потому что она будет плакать самыми горькими слезами, если ты завтра умрешь. Или послезавтра. Когда тебе будет удобнее умереть?

- Иди к черту, Андреа! Лучше делом займись, – а затем он обратился к моей лучшей работе. – Придешь за простынями через четыре часа, малышка. Береги себя!

- Пока, дядя Поль. Я буду плакать, если ты завтра умрешь.

- Да ну вас, – сказал он и вышел из комнаты.

- А дядя Поль станет натюрмортом после своей смерти?

- Нет. Он слишком толстый.

- Значит, толстые никогда не станут натюрмортом?

Я засмеялся.

«Боже, она впитывает в себя все, что я говорю».

Эта очаровательная губка доедала третье яблоко.

* * *

Мы позавтракали остывшими круассанами и холодным какао, разговаривая о душе, натюрморте и моем неповторимом и замечательном детстве. День в Сен-Поль-де-Вансе выдался жарким и душным, а потому мы надели свои белые сорочки из хлопка и отправились в путь по зеленым улочкам нашего славного городка.

Первым делом мы зашли к тете Жаклин, которая жила на соседней улице – там, «у фонтанов», где печет свои бесподобные круассаны пекарь Мишель.

– Доброе утро. Можно к вам в гости? – поприветствовали мы молодую хозяйку, как только она открыла нам дверь. Жаклин была коренной француженкой в восьмом поколении, в ее жилах текла поистине неразбавленная французская кровь.

– Проходите, мои дорогие. Я вам очень рада.

Мы сняли обувь, а затем нас пригласили на чай с миндальным печеньем.

– Присаживайтесь. Как у вас дела? Луиза, мне кажется, ты похудела?

– Тетя Жаклин, а знаете ли вы, что вы – это часть моей души?

Я не любил имя Жаклин, но здесь, в наших краях, оно было очень распространенным, как, например, имя Джузеппе в Джеле, и поневоле приходилось с этим смириться.

– Это тебе папа такое сказал?

– Да, а еще он сказал, что толстые после своей смерти никогда не станут натюрмортами.

Я немного покраснел и поджал губы от стыда.

– У твоего папы большие познания в области человеческой души и искусства.

– Но ведь я могу обосновать, – сказал я как-то по-детски нашей гостеприимной Жаклин.

– Мы внимательно слушаем тебя, – подбодрила меня она.

– Ты – часть моей души, Жаклин, потому что я испытываю к тебе чувства. Ты – вежливая, приятная, от тебя всегда вкусно пахнет и веет непонятной мне

радостью, искренним желанием жить. Мне легко и приятно находиться рядом с тобой, и если ты завтра умрешь, то я буду плакать горькими слезами по тебе. Но слезы Луизы будут вдвойне горше моих, – я перевел взгляд на дочь. – Вот, что она тебе хотела только что сказать.

– Это – признание? – поинтересовалась Жаклин неестественно твердым и холодным голосом. Мне еще никогда не доводилось слышать столь леденящего вопроса.

– Назвать человека частью своей души – это всегда признание.

– Значит, Луиза – часть моей души, – сказала Жаклин нежно, с неподдельной искренностью, глядя на чужого ребенка.

На улице, когда Луиза побежала вперед, а мы с Жаклин остались одни, моя спутница вдруг неожиданно заявила:

– Ты глупый, Андреа. Я говорила тебе об этом уже тысячу раз и скажу еще раз. Ты глупый и никуда не растущий человек!

– Я этого никогда не отрицал. И не стану отрицать в этот раз.

– Зачем ты говоришь с ней на темы, о которых тебе самому мало известно?

– Ты о душе или натюрморте?

– Все дело в том, что тебя воспитывала мама. У вас в итальянских семьях так принято, что мать...

– Знаешь что? Моя итальянская семья не имеет ни малейшего отношения к моей нынешней семье и воспитанию Луизы. Пусть я глупый и недостаточно умен для тебя, но я научу свою дочь чувствовать этот мир, а не анализировать его. Для тебя ум – это цифры и толстые книжки, Жаклин, для меня ум – это умение сравнить утренний июльский рассвет с сонной улыбкой Луизы, когда она только открывает глаза. Для тебя мир – это банкноты, расчетливость, план. Париж – идеальное место для тебя. А таких, как я, он съедает с потрохами. Ты слишком яркая для нашей деревни, Жаклин, ты слишком быстрая для нашей размеренной

жизни. Может быть, сбавим шаг?

– Твоей дочери нужна мама.

– Моей дочери не нужен искусственный снег.

Возвращаясь в Париж. Воспоминания

У меня на руках оставили четыре килограмма лягушачьего кваканья и благовоний давно увядших растений. Это прелестное создание благоухало каждые полчаса, как по расписанию, оставляя на моих руках и рубашках зловонные краски, которые отмывались куда хуже акварели. Жизнь этого таинственного для меня создания была как чистый холст.

И от этого холста я решил незамедлительно избавиться.

Я много раз проходил мимо родильного дома, где было «Окно жизни». Там, около «окна», мне изо дня в день бросалась в глаза табличка с надписью на ней – «Положите вашего младенца под дверь и нажмите на звонок. Мы не станем вас осуждать за ваш поступок. Оставайтесь инкогнито, но только не выкидывайте детей в мусорные баки. Просим вас, тени, оставайтесь людьми».

Я положил квакающую бомбу под дверь и нажал на звонок.

– До свидания. Надеюсь, твоя мать сгорит в аду.

Да, я немного сердился на Жаклин, не скрою. Было время, когда я мысленно выкапывал для нее яму, а затем представлял, как ее в эту яму кладут, засыпая землей. И все это действие происходит под исполнение «Собачьего вальса».

Это маленькое существо, замотанное в чистый пододеяльник, взятый с моей постели, еще сильнее заквакало, когда я положил его на холодный бетон.

Этот раздирающий душу крик. Казалось, это инопланетное головастое создание знало все человеческие струны и давило на них изо всех сил. «А вдруг его ударят за то, что оно сильно квакает? А вдруг другие дети его задушат во сне? Оно ведь крикливое – наверное, слабое и больное. Таких в приютах не любят».

«Нет, я не могу его здесь оставить», – запела совесть во мне, и я взял его обратно на руки.

Двери сначала неприятно заскрипели, а затем открылись. На пороге стояла взрослая женщина в белом халате и вопросительно смотрела то на меня, то на моего ребенка.

– Вы решили оставить у нас ребеночка?

– Нет. Я хотел спросить, где у вас здесь библиотека?

– Там, на углу, – она показала на соседнее здание, находясь в том же недоумении, что и мгновением ранее.

– Вы точно не хотите его здесь оставить?

– Я что, похож на тень? До свидания.

А затем я отправился в незабываемое путешествие под названием «Непознанный мир отцовства».

Этот удивительный мир. Пятимесячная женщина кричит у меня на коленях, а я рисую старухе портрет на заказ. Благо, взрослые люди хорошо платят и очень расположены к детям.

Этот слегка запятнанный холст. Иногда кажется, что пеленать у меня выходит куда лучше, чем рисовать. Я прочитал практически все библиотечные книги о материнстве, и во всех пишут одинаково: что единственное, самое важное, чего недостает пятимесячному творению, – это грудь. Материнское молоко – незаменимый продукт.

Этот незабываемый миг, когда Антонио спрашивает у меня: «Может быть, выбросим ее в окно?» Я отрицательно качаю головой. А затем он разбивает о стену пустую бутылку из-под дешевого портвейна и с криками о смысле ненавистного ему существования уходит из съемной квартиры навсегда. Хозяин узнает о ребенке и повышает месячную плату. Жить становится труднее и невыносимее. Рисование вызывает тошноту и постоянное расстройство желудка. И видит Бог, не было на свете беды страшнее, чем колики Луизы.

Через пять месяцев беспросветной тьмы нам наконец пришлось покинуть Париж. Луиза к тому времени научилась ползать. Государство своей маленькой гражданке выделило неплохой бюджет и крохотную студию в живописном месте. Мы отправились в небольшой городок, да что там – в деревню, расположенную на юге Франции, в районе Прованских Альп.

Хозяину бывшей квартиры мы оставили лишь название города, в который мы с Луизой отправились, на тот случай, если Жаклин вдруг станет интересна наша дальнейшая судьба. Города, в котором невозможно было потеряться.

Так и началось наше знакомство с Сен-Поль-де-Вансом...

Глава третья

Милый Сен-Поль-де-Ванс. Цветы и Жаклин

В нашем маленьком городке есть несколько парфюмерных лавок, две библиотеки и около десятка пекарен. Примерно столько же кофеен и ресторанов. А вот теперь представьте себе, что все это находится на одной-единственной улице! Наш город – феерия самых различных запахов, порой кофе смешивается с духами, духи – с запахом свежей выпечки, а выпечка, в свою очередь, – с ароматом самых различных цветов. Как говорил Ауэрбах: «В истории цветов заключается часть истории человечества». И я, и любой коренной житель нашего удивительного городка не сможем с ним не согласиться.

Каменные стены средневековых крепостей и домов всегда украшены горшками и вазами со свежими цветами, с балконов виднеются желтые бегонии, арки и

двери пышно увиты плетистыми розами. Мужья дарят своим женам нарциссы без повода, а прекрасная часть человечества, созданная для цветов, их целует. Как можно было не влюбиться в этот сказочный город?

- Ты никогда не думал сдать Луизу в приют для сирот? – спросила у меня Жаклин, провожая к лавке нашего достопочтенного пекаря.

- Думал. Я даже думал ее задушить подушкой во сне.

Глаза Жаклин наполнились удивлением, но не тревогой.

- Нет, не беспокойся. С ней все хорошо, я ее ни разу не ударил за четыре года. Просто родительство – это не то, о чем пишут в книжках, рассказывают по радио и поют в песнях. «Дети – цветы. Дети – цветы». Несомненно – цветы, но чтобы эти цветы не увяли, нужно их постоянно кормить кашей, супом, молоком, даже когда им не хочется есть. Поить! Даже тогда, когда на твоей одежде остается в десять раз больше воды, чем этот цветок успел в себя впитать. И знаешь, Жаклин, со временем начинаешь ходить по улице с пятнами на одежде, сам того не замечая. Твой зловонный дух начинают улавливать соседи, пытаюсь деликатно намекнуть, что пора бы хорошенько помыться. Когда она засыпала, я не то что помыться, я моргнуть в себе сил найти не мог. Недосыпание – страшнее голода, поверь мне! Почему по радио не рассказывают, как правильно массировать живот, когда у ребенка колики? Почему они поют, что нет на свете чудеснее созданий, чем дети, но не рассказывают, как с этими созданиями обходиться?

Нас не обучают быть родителями, но с раннего детства закладывают любовь к детям. «Сначала полюби, затем роди, а там справишься как-нибудь».

- Ты жалеешь себя. Все настолько плохо?

- Нет, что ты! Ее первые шаги, первое слово. Есть моменты бесценные, которые никогда больше не повторятся в моей жизни, когда во мне было счастья больше, чем во всей церкви «Исследователей Библии». Кто-кто, а «исследователи» знали, где искать счастье.

Но между этими моментами – жизнь, серые однообразные будни. Я четыре года своей жизни посвятил самой слабой женщине в этом городе, чтобы самому стать

сильнее.

- Ты рисуешь?

- Портреты - иногда. Пейзажи несколько лет не приходилось. Вчера нарисовал натюрморт.

- Ты, наверное, сильно к ней привязался за эти годы.

Я смотрел на красивую, тонкую Жаклин с бесконечно глубокими глазами, но не мог понять смысл ее слов.

- «Привязался» - это самое убогое описание моих чувств к этому ребенку.

Луиза тем временем познавала удивительный мир, разговаривая с человеком необыкновенной души, Мишелем. Он угостил ее свежим круассаном и стаканом теплого молока.

- Ты, возможно, ее полюбил.

- ...

Она так легко произнесла «полюбил», словно я сделал в ее присутствии что-то обыденное, обыкновенное, воспроизвел перед ней то, что я уже делал много раз. Она сказала это слово так просто, словно я только что повторил на полотне ее портрет, а затем написал натюрморт - три яблока на снегу, среди которых одно надкушенное.

Словно я кричал во все горло четыре года, что я так сильно Луизу люблю, а сейчас повторил те же самые слова, но только шепотом, и эта женщина мне поверила.

- Тебе когда в Париж?

- На следующей неделе. Мне будет вас не хватать.

– Возвращайся, Жаклин. Привези побольше миндального печенья. Сказать по секрету, мы наведываемся к тебе в гости большей частью из-за него.

– Я знаю, Луиза любит миндаль.

– Тетя Жаклин... Мишель зовет вас с папой выпить с нами молока.

– В другой раз, – произнесла женщина, сотканная из крупиц льда, а затем она нас покинула.

– Андреа, ты слышал, что твоя дочурка мне только что сказала?

Мишель, как всегда, был полон сил, энергии и в бодром расположении духа. Откуда он черпает столько сил?

– Нет, что?

– Она сказала, что я – якобы часть ее души.

– А что здесь удивительного? – осушив до дна стакан теплого коровьего молока, спросил я. На губах остался довольно сладкий привкус.

* * *

«Город одной улицы» – так называли это место путешественники, которым посчастливилось побывать в наших краях.

До Ниццы было рукой подать, не больше двенадцати километров, но горная серпантинная дорога отнимала больше часа, тем самым ограждая наш маленький цветущий городок от залетных птиц. Сюда невозможно было попасть случайно. В Канны, Антиб, Кань-сюр-Мер – да, пожалуйста. Но только не в Сен-Поль-де-Ванс. Этот средневековый городок, расположенный на холме, можно было увидеть издалека, находясь в некоторых не самых туристических районах Ниццы. Но чтобы попасть в нашу местность, нужно было знать особую тропу.

Что меня изначально привлекло в Сен-Поль-де-Вансе, так это неспешная, размеренная жизнь его обитателей. Этот медленный, прогулочный шаг. Людям некуда бежать, они не спешат жить, как парижане, а, напротив, казалось, замедляют жизнь. Чтобы научиться ходить, как они, мне нужно было прожить здесь два года. После этого я перестал куда-то вечно нестись, спотыкаться о камни, а научился просто прогуливаться, наслаждаясь теплым горным ветром и самыми непередаваемыми запахами.

– Жаклин уезжает в Париж? – спросила меня Луиза, когда мы возвращались из пекарни домой.

– Уезжает.

– А дядя Мишель мне сказал, что Жаклин – плохая, она никого не любит, кроме себя.

– Любить только себя – это черта эгоистов, Луиза. Это склад человеческой природы такой. Но совсем не значит, что человек плохой, если он самовлюбленный. Мишель хотел сказать, что она другая – не такая, как мы. В основном, заикленный на себе человек видит мир достаточно узко.

– А я – эгоист? – спросила она.

– Нет, но если ты научишься себя любить, то в этом не будет ничего дурного.

– А как же узкий мир?

– Ну, как посмотреть! Вот будете проходить мимо красивого деревянного зеркала – самовлюбленная ты и человек, не испытывающий самых пламенных чувств к своей персоне. Ты будешь в этом зеркале любоваться собой, а он – его лаковым покрытием и качеством дерева.

Вот куплю я два мороженых – одно тебе, а другое – соседскому мальчишке Жану, который все зовет тебя показать свои пластинки и огород. Ты съешь все мороженое сама, насладившись им до конца, а он отнесет его домой и разделит между своими братьями. Ибо так его научили родители – делить единственный брикет мороженого на троих, если в доме детей трое, а мороженое – одно.

Воспитывать любовь к себе – это значит, не делить свое мороженое на количество присутствующих в доме, а съесть его самому.

– Но ведь другие останутся голодными.

– А ты будешь сыта.

– Но остальные тоже хотят его.

– Эгоисты не видят, кроме себя, никого. Они всегда сыты, но в большинстве своем одиноки. Мда... Сдается мне, что эгоистку из тебя не получится сделать.

– Тетя Жаклин не видит меня?

– Нет, видит, конечно, но не так хорошо, как себя.

– У нее плохо со зрением? Может, ей лучше носить очки в моем присутствии?

– Думаю, они ей не помогут.

– Она ведь тоже одинока, как и другие эгоисты?

– Тоже.

– А ты тоже эгоист?

– Нет.

– А почему ты тогда одинокий?

– Я не одинокий, Луиза. У меня есть ты. Одинока Жаклин, у нее тебя нет.

– Почему она тогда так добра к нам, если она одинокая и не имеет совсем никого?

- Может быть, ей кажется, что она имеет нас?

Я говорил с Луизой как со взрослым человеком, и, пожалуй, она многое понимала из моих слов и запоминала практически все.

- А дядя Поль - эгоист?

- Нет. Поль - недолюбленный бедный ребенок, который всю свою любовь отдал родной дочери. Вот она стала эгоистом от переизбытка его любви.

- Если ты будешь меня так сильно любить, как дядя Поль - свою дочь, то и я стану эгоистом?

- Вполне возможно.

- Значит, тетю Жаклин очень сильно в детстве любили?

- Вероятно, да. Она мне не говорила.

- А ты спросишь у нее, когда она вернется?

- Спрошу.

Мы зашли в отель и поприветствовали хозяина.

- Можете забирать постельное белье, - напомнил нам он.

- Спасибо, Поль.

- Ты понял насчет картины, Андреа? Я жду. У Поля Ру было две слабости в жизни.

Одна - коллекционировать картины современных художников, не важно, знаменитых или нет. Нередко повелители кисти расплачивались за стол и кров в его отеле своими работами. Поль с радостью принимал к оплате их творения. Второй слабостью этого большого несокрушимого человека была его дочь

Фредерика.

Он, как и я, был отцом-одиночкой. Его жена умерла в родах шестнадцать лет назад, оставив ему предсмертный подарок – маленькую Фредерику, квакающую, как Луиза четыре года назад.

Но Фредерика проквакала до шестнадцати. Ох, и трудный выдался ребенок. Переизбыток любви – не всегда хорошо.

– А тетя Жаклин может в следующий раз, когда приедет в Париж, пойти к Сене и передать маме от меня привет?

– Почему бы и нет. Хочешь, я попрошу ее об этом?

– Хочу.

– Будет исполнено.

Маленькая кудрявая француженка радостно затопала ногами.

– Когда она вернется?

– Через неделю.

– Ты пообещал дяде Полю нарисовать новую картину?

– Да.

– Ты сдержишь свое обещание?

– Конечно. Я всегда сдерживаю свои обещания.

Мы сидели на нашем подоконнике и смотрели на проходящих мимо людей. Наш номер находился на втором этаже трехэтажного каменного здания, построенного еще в пятнадцатом веке из белого камня.

– Папа, а что ты нарисуешь на этот раз?

– Тебя.

Глава четвертая

Приезд из Парижа Жаклин и бессовестный муж тетушки Мадлен

Я смотрел на новоиспеченный портрет своей дочери и находил в ней черты ее матери Жаклин. Чем старше становилась Луиза, тем больше в ней было сходства с той странной, болезненной худобы женщиной, которая сказала, что достанет игрушку, а достала для меня билет во взрослую жизнь. Ее лицо там, на лестничной клетке, я помнил так ясно, словно только что увидел перед собой.

Помню, как впервые касался ее. Как она касалась меня в ответ. Мы забываем со временем запах кожи, изъяны лица и других частей тела, если изъяны были. Мы забываем голос, даже ужасные слова, которые в нас гвоздями забили, а казалось, их невозможно забыть. Мы забываем по собственному приказу все самое плохое, что однажды с нами произошло. Наша обида – это ноша наша. Люди, которые нас обидели, груз сбросили с себя и оставили его для нас, чтобы мы, подобно глупому ослу, тащили на себе эту ношу. И наша морковь перед носом – это вселенское чувство несправедливости. Мы понимаем, пройдя огонь, тернии, воду, надорвав тем временем спину, что справедливость – вещь не обязательная. Мы, обиженные, на протяжении всего своего пути ищем судью, но так и не встречаем его. В итоге понимаем, нет – смиряемся с тем, что некоторым людям свойственно жить безнаказанно! Мы, наконец, прощаем. Мы меняемся. Мы едим. Мы перестаем видеть зло в черном, а добро в белом цвете. Мы становимся людьми, которые умеют не находить в луже грязь, когда ее не хочется там находить. Мы перестаем быть пленниками наших собственных обид, а затем – собственных иллюзий относительно нас самих. Мы сначала не чаем души, а затем жалеем капли в море.

Обретая со временем самих себя, мы перестаем быть пленниками чего-либо.

Я говорил своей дочери о том, что некоторые люди – это часть нашей души, если мы испытываем к ним особые чувства. Так вот, ее матушка Жаклин спустя четыре года перестала быть частью моей души.

Я ее не выкидывал вон, я ее не убивал в себе, заставляя ее навязчивый голос заткнуться в моей голове. Я ее просто однажды забыл и с того момента перестал быть ее пленником.

* * *

– Жаклин, а тебя любили в детстве родители?

– К чему этот вопрос, Андреа?

Мы вновь сидели на кухне у нашей любимой тети, которая привезла из Парижа много миндаля. Мы пили чай и ели печенье. Из распахнутого окна до пола, выходящего на балкон, дул теплый летний ветерок. Было слышно, как внизу о брусчатку стучит женский каблук.

– Городские... – прокомментировала Жаклин и вопросительно приподняла бровь, глядя мне в глаза.

– Я объяснял Луизе, кто такой эгоист, на твоём примере. А она задала мне вопрос – сильно ли тебя обожали в детстве родители.

– Обожали, Луиза, – сказала она, улыбнувшись моей дочери.

– Может быть, вам стоит носить очки, чтобы лучше меня видеть?

Приподнятая бровь молодой и очаровательной тетушки была вновь адресована мне.

– Эгоисты ведь близоруки. С этим ничего не поделаешь, – развел руками я.

– Чему ты еще ее научил?

Я положил два печенья в рот и начал тихо жевать, демонстрируя тем самым, что у меня набитый рот, и я не могу говорить.

- А вы могли бы, тетя Жаклин, передать моей маме привет, когда поедете в Париж в следующий раз?

Тонкая молодая француженка, казалось, сделанная из камня, поставила чашку на стол и взглянула на девушку, которая была младше ее на двадцать лет.

- Как мне найти твою маму? У нее есть особые приметы?

- Ну... Она взрослая, как вы.

- Так.

- У нее такой же цвет волос, как и у вас.

- Хорошо.

- Ее зовут Жаклин, как и вас.

- Прекрасно.

- Она плавает каждый вечер по Сене на личном катере. Она богатая и платит хорошие деньги нищим художникам.

- А зачем она плавает каждый вечер по Сене?

- Как зачем? Чтобы смотреть на вечернее небо и звезды. Всем это нужно. Мы с папой открываем летними вечерами окно и смотрим на звездное небо, на самолеты, вылетающие из Ниццы и возвращающиеся обратно домой. Папа рассказывает мне о Джеле, о дяде Джузеппе и грузовых судах, которые он видел каждый день из окна своей спальни. А когда налетает много комаров к нам в комнату, мы запираем ставни и ложимся спать. Правда, потом мы еще долго не можем уснуть из-за их жужжания... А вы разве не смотрите вечерами на звезды, тетя Жаклин?

– Не смотрю.

– Это из-за того, что вы себя очень любите? Или потому, что плохо видите без очков из-за своей близорукости?

– И то, и другое, – она любезно улыбнулась Луизе, а затем перевела странный взгляд на меня.

– А вы могли бы себя любить поменьше?

– Я передам привет твоей маме, Луиза, если однажды вечером встречу ее у набережной Сены.

– Спасибо, – с набитым ртом поблагодарила кудрявая француженка.

– Ты не спросила у нее адрес, – подметил я.

Жаклин приподняла брови, а затем внимательно посмотрела на Луизу.

– Набережная Монтебелло. Напротив Нотр-Дама. Туда подают ее катер.

– Хорошо.

Сначала наступила неловкая пауза, а затем хозяйка квартиры спросила у меня:

– Вам, наверное, пора домой? Уже поздно.

– Действительно, – я посмотрел на часы. – Мы задержались. Благодарим тебя за теплый прием и вкусный чай.

– До встречи, тетя Жаклин.

– До встречи, Луиза.

– До встречи, Жаклин. Когда на этот раз в Париж?

– Завтра.

– Когда обратно?

– Когда закончу дела. Возможно, на следующей неделе.

– Не забудь миндальное печенье.

– До встречи!

Было шесть вечера, еще не поздно, но Жаклин хотела допить чай одна. Да, кстати, она завернула в платок остатки печенья и отдала Луизе. Моя дочь любила Жаклин не меньше, чем фантом матери, которой у нее никогда не было, но о которой она постоянно узнавала что-то новое из моих рассказов.

Моя дочь могла бы привязаться к собаке, если бы мы завели ее. Но я не хотел, чтобы она привязывалась. Да и вряд ли Поль Ру разрешил бы держать в своем гостиничном номере собаку.

Дорогой читатель, я так увлекся рассказом о Сен-Поль-де-Вансе, что совсем забыл рассказать тебе самое главное – как мы попали с Луизой в отель «Золотая голубка» и почему студия, выделенная государством, нам не подошла.

* * *

Изначально мы жили на самой окраине города, из наших окон виднелись горы, и, оставляя открытым окно, мы постоянно дышали чистым горным воздухом Альп.

Студия была метров двадцать квадратных, может быть, двадцать три. Маленькая кухонька была объединена со спальней. Тут же стоял небольшой кухонный стол, а в конце комнаты у окна – кровать. Туалет был на улице. (Но свой и закрывался на замок.) Горячей воды в доме не было, приходилось греть воду в ведрах, чтобы подмывать Луизу и подмываться самому. Она только начала ползать, исследовать мир. До этого момента больше лежала, предпринимая неуверенные попытки сесть. Когда села, то начала сразу ползти. Я нашел хорошего врача, по совместительству – педиатра, в этом удивительно зеленом городке, и он навещался к нам каждую субботу в свой выходной день.

Сначала Гюстав брал тридцать франков за один прием, а спустя время перестал брать с нас деньги. У нас они были, но он почему-то вдруг перестал их количество уменьшать. Благодаря доктору Гюставу, ни одна болезнь Луизы не проходила в больнице. Несколько раз, когда у нее была горячка, приходилось даже беспокоить бедного доктора посреди приема, отрывая от основной работы. Молодой отец с ребенком на руках не раз входил в кабинет врача без предупреждения. Неестественный румянец младенца, вялость и жар были лучшим успокоительным для негодующего пациента на оплаченном приеме у доктора.

Я многим обязан Гюставу. Несомненно, этого человека я смело могу назвать частью своей души. Я часто вспоминаю его доброту, и не только в те дни, когда моя малышка болеет.

В нашем трехэтажном доме, помимо нас с Луизой, проживала еще молодая семья, занимавшая весь первый этаж, и пожилая француженка, квартира которой была расположена на втором этаже, прямо под нами. Старушка Мадлен перебралась в Сен-Поль-де-Ванс только на закате своей бурной и красочной жизни.

«Много я потеряла», – говорила она, когда приглашала нас с девятимесячной Луизой к себе в гости. У нее дома всегда было чисто и вкусно пахло розами. «Много я обрела», – повторяла она мне, словно делилась со мной чем-то ценным, накопленным на протяжении долгих лет своей жизни. Она уже давно ни с кем не разговаривала о себе, и как только у нее появились свободные уши, она начала эксплуатировать их, как могла.

– Она плачет, потому что она – абсолютно здоровый ребенок, а не потому, что хочет тебя позлить. Дети в таком возрасте не умеют делать назло. Твое раздражение на нее – это твое бессилие, но не ее вина.

Было бы хуже, если бы она не плакала, а все время молчала. Такие дети больны, и во взрослой жизни они становятся крайне беспокойными людьми.

Я качал Луизу у себя на коленях.

– Мне приходится работать, когда она спит. Я сплю иногда по несколько минут в день. У меня такое чувство, словно в моих жилах течет не кровь, а кофе. Когда я

смогу выспаться, Мадлен?

– В старости сможешь засыпать, когда тебе вздумается. Только, к сожалению, просыпаться будешь с ранними пташками, и выбрать удобную позу перед сном станет гораздо сложнее. Я уже девятнадцать лет просыпаюсь ровно в пять тридцать утра, иногда, хоть и редко, с небольшими погрешностями в пять – восемь минут. Это уже вошло в привычку и стало частью меня.

– Вас не пугает старость?

– Ты хотел, наверное, спросить – не пугает ли меня смерть. Верно? – Мадлен засмеялась. – Молодежь думает, что если человек пожилой, значит, он уже одной ногой на этом свете, и пора покупать ему грядку на кладбище.

Я покраснел оттого, что сказал глупость, продолжая качать на руках свою дочь.

– Мне семьдесят три года, и если я завтра не встану со своей постели, то вряд ли кого этим удивишь. Да, я боялась смерти, все мы боимся неизвестности, такова человеческая природа. Но вот буквально на днях я кое-что для себя поняла. Это случилось за несколько дней до вашего с Луизой приезда, когда я чуть не сыграла в ящик.

– Что произошло, Мадлен?

– Я, как обычно, поливала бегонии ранним солнечным утром, – она на мгновение затихла и посмотрела на уснувшего ребенка, кажется, Луизу убаюкивал голос Мадлен. Моя собеседница улыбнулась, а затем перешла на шепот.

– Затем я услышала, как кто-то громко постучался в мою дверь. «Кто бы это мог быть в шесть десять утра?» – подумала я и в спешке выбежала с балкона на кухню, но не заметила деревянного табурета на своем пути и упала головой вниз.

В моих глазах она разглядела неподдельный интерес и с таинственной улыбкой продолжила дальше свой рассказ.

– Мне снился сон. Очень яркий сон, словно это было не виденье, а настоящая жизнь. Передо мной стоял знакомый мне человек, которому я отдала сорок лет своей жизни. Бедный Луи, который скончался от сердечного приступа десять лет назад. Он смотрел на меня осуждающе, сердито, словно я была в чем-то виновата перед ним. «В чем дело, Луи?» – спросила наконец я. В этом сне, в отличие от других снов, я знала, что он мертв. «Ты знаешь, Мадлен, я решил подать на развод. Мы с тобой давно уже не пара». – «Вот оно что, старый козел! Ты встретил кого-то лучше за десять лет?» – Он немного замялся: «Нет, но...» – не успел договорить он, как я очнулась.

Прошло меньше минуты, как мне показалось, а между тем я пролежала на полу одиннадцать часов. Как странно тянется время, не правда ли?

Нужно было уже идти домой и укладывать в кроватку Луизу, но мне ужасно хотелось ее дослушать до конца.

– Что произошло дальше?

– А ничего. На моем теле не было ни одного ушиба, такое ощущение, словно я ударилась головой не об пол, а о подушку. Даже шишки на лбу не осталось. Чудеса!

– Я не совсем об этом.

– Когда я на следующий день спросила соседей, кто приходил ко мне в такую рань, то услышала, что никто не приходил. Все крепко спали, а кто не спал, тот счел бы дурным тоном явиться в такое время.

– Может быть, ваши дети?

– Исключено. Моя дочь живет в Марселе и приезжает ко мне, только отправив предварительно письмо. А незапланированных поездок в гости она не совершает.

– Тогда кто? – любопытство терзало мою душу.

– Я так и не узнала, но этот вопрос меня беспокоил куда меньше, чем другой.

Мадлен умела создавать интригу. Ее таланту рассказчика можно было позавидовать.

– Я не могла никак понять, почему Луи вдруг вздумалось со мной развестись. Мы прожили сорок лет душа в душу, бок о бок. Я проплакала два года по нему, а потом еще один год выдавливала слезу для людей. Я не могла себе уяснить, мой юный Андреа, почему этот эгоистичный старик – знаю, я тоже не первой свежести роза – но почему же он подвел меня в самый неподходящий момент?

– Чем он вас подвел, Мадлен? Я не могу понять.

– Тем, что на том свете за меня нужно будет замолвить доброе слово, а затем там все показать. Как люди живут, где теперь мое место. Ведь в неизвестность и тьму страшно ступать одной, я все это время надеялась на него. Я прожила с Луи сорок лет не для того, чтобы развестись в самое неподходящее для меня время.

Я смотрел на нее и не понимал – шутит ли она сейчас или говорит серьезно. Во всем, что она говорила до этого момента, был виден абсолютно здравый смысл.

– Понимаешь, Андреа, мой муж был удобен как никто другой, и после его кончины мне трудно пришлось одной. Ой, как трудно! Представь себе на секунду шестидесятилетнего ребенка, который, как и твоя Луиза, учится ходить, кушать с ложки, который смотрит на самые обыденные для любого взрослого вещи, не зная их названий и свойств. Я будто лишилась сначала зрения, а затем правой руки.

– Я вас понимаю.

– С одной рукой живется хуже, чем с двумя. Но спустя несколько лет рука отросла. Луизе, кстати, не пора в кроватку? Ее тело, наверное, затекло, как и твои руки.

– Пустяки. Мы дослушаем вашу историю и уйдем, – заверил ее я. Она спросила больше из вежливости, конечно, она бы нас не отпустила на середине своего рассказа. Только не Мадлен!

– Да здесь и нечего даже дослушивать. Позавчера я пошла в церковь. Стало быть, мне теперь нужно отмаливать и отпевать свою душу самостоятельно, раз мой муж отказался это сделать за меня. Луи был святым человеком, честное слово! Ни одного плохого слова за сорок лет я от него не услышала. Такая уж наша судьба – не слышать плохого из уст нелюбимых. И тогда мне стало еще страшнее не открыть однажды в пять тридцать свои глаза, когда грехов у меня больше, чем винограда в виноградниках Бордо. Да, было время, когда филлоксера сожрала чуть ли не все виноградники Франции. Но это было давно.

– Вы говорите сейчас серьезно?

– Как никогда. Филлоксера была беспощадной, тогда виноделие пережило серьезный кризис.

– Я о грехах.

– Более чем. Я пришла в церковь и сказала святому отцу, чтобы он бросил все свои дела и начал отмаливать мою душу, пока я не передумала. Чтобы все мои даже самые мелкие грешки смыл с моего бренного тела святой водой.

– А он что?

– Он развел руками и сказал, что я должна сама спасти свою душу. Он может только выслушать мои грехи, а отпустить их или нет – это уже решает не он, а Бог. Я на священных землях не частый гость, скажу тебе по секрету, Андреа, но даже я поняла, что передо мной стоит дилетант, халтурщик, который незаслуженно ест свой хлеб, запивая дешевым вином. Он меня еще напоследок ударил по самому больному, когда я спросила, может ли бывший муж за меня там замолвить слово. И считается ли бывшим муж, если нас разлучила только смерть, но не государственные органы уполномоченной власти.

Мадлен тихо встала и медленно зашагала к верхнему шкафчику, чтобы достать оттуда еще одно блюдце с сахаром.

– Что вам ответил святой служитель?

– Святой Георгий мне сказал, что мы приходим в этот мир одни и уходим из него тоже одни. Он расстроил меня своим заявлением, что Луи не смог бы в любом случае меня там выставить святой и безгрешной. «Потому что грехи, как и ваша одежда, будут видны всем, и встречать вас будут по этой одежде, и провожать по ней же», – никогда не забуду его слова. Сколько в них пафоса. Бррр.

Да, о чем это я! – Старушка задумалась. – Андреа, можно тебя попросить об одном одолжении?

– Конечно, Мадлен. Я вас внимательно слушаю.

– Мог бы ты выслушать, когда у тебя появится свободное время, еще один мой рассказ. Предупреждаю сразу, он другой, в нем нет мистики и церковных деятелей, а только жизнь. Какой бы прозаичной она ни была. Мне бы хотелось перед тобой исповедаться...

– С удовольствием. Мы можем зайти завтра днем. У вас очень вкусный чай.

– Это травяной, из горных растений. Я от него хорошо сплю.

– До завтра, Мадлен.

Я медленно встал и бережно понес Луизу к двери, ступая тихо и осторожно, чтобы не разбудить. Пожилая Мадлен опустила на колени и стала обувать мои босые ноги, а затем завязала шнурки на моих туфлях.

– Благодарю вас.

– Буду ждать вас завтра. До встречи.

К сожалению, на следующий день мы не смогли зайти к тетушке Мадлен, так как у Луизы на руке я обнаружил странное аллергическое высыпание, и уже в который раз пришлось побеспокоить Гюстава.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: <https://tellnovel.com/vyacheslav-prah/otel>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)